Б-43
В103 659
В103659

ДИМИР БЕЛЯЕВ

ЛЕНИНГРАДСКИЕ НОЧИ

Издательство „Правда"
Москва — 1942

Зак. 3.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

770287

Отв. редактор — Е. ПЕТРОВ

Издательство „Правда"		Изд. № 282
А50895	Заказ 774	Тираж 150 000
Формат 105×148 мм.	1¼ печ. л.	Знаков в п. л. 43 200
Цена 20 коп.	Подписано к печати 27/IV 1942 г.	

Типография «Красное знамя», Москва, Сущевская, 21.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ НОЧИ

Далекому другу

Мой дорогой соотечественник! Ты завтрашний житель великой нашей родины — моей и твоей России, моего и твоего Советского Союза. Ты через много лет пройдешься белой ночью по гранитным набережным Ленинграда, будешь любоваться его красотой, будешь наблюдать блестящий шпиль Петропавловской крепости, лиловатую, спокойную воду Невы, разведенные мосты, нежный, желтоватый отблеск зари, встающей над Петроградской стороной, над краем светлого и без того легкого неба.

В твое время будут уже залечены военные раны города, взамен разрушенных бомбами и снарядами домов вырастут новые, лучшие, еще более прекрасные дома, достойные ленинградских улиц, возвратятся на свое место, на гранитные постаменты, чугунные кони на Аничковом мосту, временно запрятанные в землю от осколков вражеских бомб, и будут снова повешены в светлых залах Эрмитажа

картины великих мастеров, будут сняты мешки, набитые песком, которыми на время войны были обложены памятники старины, будут освобождены витрины магазинов от деревянных щитов, засыпанных песком, и дворники будут поливать улицы из шлангов чистой невской водой, как прежде, до войны, и не будет выть сирена, объявляя очередную воздушную тревогу. Дети будут кататься на маленьких велосипедиках перед Александринкой, и о свисте падающих на жилые дома бомб будут читать разве только в романах и исторических исследованиях — так, как мы сейчас спокойно читаем об эпохе тимуровских войн.

Тебе, человеку, который увидит этот, послевоенный Ленинград, я и пишу это письмо. Я сижу сейчас у своего стола, потрескивают за спиной дрова в буржуйке, второй час декабрьской ночи, изредка тишину ее нарушают резкие разрывы снарядов: это бьют наугад по городу немецкие орудия.

Может быть, как раз в эту самую ночь начинается новое немецкое наступление? Да нет же! Если есть в мире что-либо самое бессмысленное и глупое по своей варварской жестокости, так это вот такие ночные обстрелы. Ничего они не решают и военного успеха немцам не приносят.

В бессильной ярости немцы пытаются заморить голодом многомиллионное население Ленинграда, отнять у матерей их детей, лишить их молока, масла, сахара — уничтожить голодом целое поколение ленинградцев, но и этого немцам мало.

Они должны напоминать о себе. Они хотят напугать осажденный и гордый город, они пытаются ночными обстрелами и воздушными бомбардировками сломить железную волю ленинградцев. И вот, по строгому плану немецкого командования, выползает из своих блиндажей, ежась от стужи и холодного декабрьского ветра, обовшивевшая орудийная прислуга — всякие гансы, готлибы и карлы в накидках из уворованных женских юбок. По знаку сонного офицера открывают пальбу. Орудия смотрят на Ленинград. Залп... Другой... Третий...: Выброшенные силой взрывов, тяжелые снаряды проносятся над заснеженными Стрельнинскими парками, над замерзающим взморьем, над застывшей Невой, над крышами темных высоких домов, над дворцами и набережными настороженного и сурового города.

Свист снарядов слышат и домашняя хозяйка, сидящая на дежурстве в домовой конторе, и ученик ремесленного училища, дежурящий в темноте чердака, и милиционер, застывший на перекрестке, и ночной патруль моряков-балтийцев, медленно обходящий пустые улицы Петроградской стороны, и сиделка, склонившаяся у изголовья тяжело раненого красноармейца в палате военного госпиталя. Но никто не дрожит, никто не пугается, каждый относится к свисту этого пролетающего где-то вверху, тяжелого, несущего смерть снаряда, как к обычному свисту осеннего, неуютного ветра. Не испугать! Не покорить! Не заставить и этим просить

площадь! Не таковы ленинградцы, это вам не Париж и не Роттердам, на площадь которого вы легко и спокойно, среди бела дня, сбросили своих парашютистов.

Но куда же летят снаряды?

Вот один из снарядов, проламывая молодой, неокрепший лед, шлепается в Неву, подымая со дна реки огромный фонтан ледяной воды, вот другой, встретив на своем пути гранитную стену старинного, еще петербургского дома пробивает камни, потолок, переборки и разрывается в густо населенной коммунальной квартире. Горячие осколки снаряда проникают сквозь одеяльца, покрывающие спящих детей. В маленькой комнатке около ванной убита старуха-пенсионерка. Обломок кирпичной стены падает на кровать крепко спящего после сверхурочной работы водопроводчика. Смерть, разрушение принес снаряд. Дом проснулся. Набирает номер телефона молодая дежурная внизу, в домовой конторе. Минуту погодя по сонным улицам, завывая, мчится карета скорой помощи, врач на ходу застегивает белый халат, мчится машина с аварийной командой — ленинградцы едут спасать ленинградцев. Утром соседние дома узнают печальный итог ночи: сорок раненых, двенадцать убитых. И люди еще сильнее сожмут кулаки, заскрипят от ненависти зубами, и не один запомнит и это утро и скажет по адресу припадочного ефрейтора, приведшего полки своих голодных мародеров под Ленинград: «Ну, погоди, гадина! Запомним и эту ночь,

сочтемся уж за все сразу». И, может, еще даже и в эту же ночь наши разведчики засекут то место, откуда били по городу немецкие орудия, и гневные залпы наших пушек ответят врагу, пробьют знакаты фашистских блиндажей, и полетят вверх тормашками сонные, тупые гансы вместе с их полуночником-лейтенантом.

Перед самой войной, в одну из спокойных ленинградских белых ночей, мы сидели в гостях у нашего знакомого — ленинградского старожила. Он рассказывал, как жил Ленинград в голодные послереволюционные годы. Знакомый рассказывал о заросших бурьяном улицах, о заколоченных, пустующих домах, о том, как ели дуранду, как не было воды в трубах водопровода, сколько голодных крыс бегало в поисках пищи по длинным пустым коридорам нежилых домов. Он рассказывал о тишине, которая стояла на ленинградских улицах, о путешествиях пешком по пустынному городу с одной его окраины на другую — он рассказывал об очень тяжелых лишениях, которые пришлось пережить в те годы городу, но, рассказывая обо всем этом, подчас страшном и печальном, он, наш знакомый, ни ни минуту не менял радостного тона своего рассказа. Он гордился пережитым и неповторимым. Гордился этими тяжелыми годами, всем трудным, что пришлось ему перенести — седому и не по летам состарившемуся человеку. Он гордился тем, что был современником, свидетелем, участником этих лет, и рассказывал он о них как о какой-то

сияющей, романтической сказке, как о времени, в котором родилось поколение сильных духом людей.

Сейчас, прислушиваясь к разрывам немецких снарядов, я вспомнил рассказ ленинградского старожила. Ро времени, которое мы сейчас переживаем, есть немало сходного с героическим прошлым тех забытых лет. Я не знаю, удастся ли мне дожить до дней твоей юности, а если даже и удастся, — я боюсь, что многое из того, что мы видим и чувствуем сейчас, может затеряться в памяти, события новых дней могут стереть переживаемое нами сейчас. Всего шестой месяц длится война советского народа с коварным врагом, посягнувшим на нашу свободу, а сколько уже мужества, доблести и бесстрашия, проявленных простыми советскими тружениками, вставшими на защиту своей земли, увидел мир! И сколько еще предстоит увидеть миру!

Человечество станет свидетелем того, как целое поколение фашистских мародеров будет улепетывать от грозного и справедливого суда. Сейчас, когда пишутся эти строки, бегство это началось. Ростов и Елец, Тихвин и Калинин — первые этапы на путях этого бегства немцев из нашей страны. Мы увидим быстрое гниение и полный распад фашизма. Мы увидим веселых и радостных чехов, поляков, парижан и норвежцев, стирающих со стен навсегда освобожденных своих городов ненавистные знаки свастики.

Но каковы бы ни были по своей грандиозности

события, свидетелями которых доведется нам быть, мы не в праве забыть ни одного часа из дней, переживаемых нами сейчас.

Вот почему, подобно моему знакомому, рассказывавшему мне о Петрограде девятнадцатого года, я в свою очередь хочу рассказать тебе — далекому и неизвестному моему другу, — как выглядел Ленинград в суровые зимние дни 1941 года, что за люди защищали его в первую и решающую зиму самой страшной из войн, какие знало человечество.

Вот я сейчас сижу и вспоминаю Ленинград с первой минуты войны. Перебираю в памяти все его военные дни — и спокойные и очень наполненные событиями, непохожие на все остальные.

Война не застала ленинградцев врасплох, как, впрочем, и всю страну.

Несмотря на разговоры многих оптимистов, что война будет через год — два, каждый внутренно чувствовал, как приближается к нашим границам коричневая чума; ветер, поднятый ею в мире, чувствовался и на улицах Ленинграда.

Уже то, что случилось в Югославии, уничтоженный Белград, судьба родных славянских народов — все это сделало и в мыслях ленинградцев очень ощутимым приближение войны. И вот война началась...

Но до сих пор, хотя до отдельных позиций врага, окружившего теперь временно Ленинград, пожалуй, можно доехать трамваем, я не припомню ни одного дня, когда бы ленинградцы поддались хоть малей-

шей панике. Сперва этот стоицизм казался кое для кого искусственным и даже удивлял как ненужная бравада.

Солнечный день. Пляж у Петропавловской крепости набит загорающими, которые, как и до войны, проводят свой выходной день у Невы. Едешь по Кировскому мосту, и не берег реки открывается перед тобой, а сплошная бронзовая, коричневая масса человеческих тел, а подальше то падают, то взлетают на стальных тросах с американских гор наполненные молодежью вагонетки.

И вдруг сигнал тревоги. В небе первый фашистский разведчик. Зенитки открывают огонь. Рядом с солнцем вспыхивают белые, точно лопнувшие коробочки хлопка дымки разрывов. Несомненно, откуда-то оттуда, сверху, должны упасть осколки снарядов. Но никто из купающихся, загорающих не думает покидать пляжа. Люди еще лежат на песке, следят за самолетом, у них, чертей, нахсдится еще время для ленивого отдыха; и вдруг, поддаваясь их невозмутимому спокойствию, перестаешь на мгновение верить, что где-то на литовских и латвийских полях целые армии танков, самолетов столкнулись одна с другой, что идет война за жизнь и существование многомиллионного народа.

Но пройдешь два шага—и в парке Ленина видишь людей в обычных гражданских пиджаках, которые переползают по зеленым газонам, учатся метать гранату, окапываются там, где вчера еще нельзя было мять траву. Это первые ополченцы. Они не

успели получить еще форму, но они спешат познать военное дело, они со всей серьезностью поняли смысл наступившей войны и опасность, угрожающую стране. Они, а не ротозеи, загорающие на пляже, определяли в первые дни войны дух Ленинграда. Не было свободного клочка земли в центре города и на его окраинах, где бы вы ни встретили занимающихся ополченцев. Первых добровольцев. Смельчаков. Героев. Тех, которые своей грудью встретили лавину немецких танков, автоматчиков, мотоциклистов на подступах к городу уже несколько позже — в половине сентября — и задержали ее.

В жизни военного Ленинграда можно наблюдать еще и сейчас наряду с мужественными поступками людей, сознающих всю опасность, угрожающую городу, случаи какой-то странной, чуть ли не ребячьей беспечности.

Вот позавчера. Восемь вечера. Прохожу по Невскому. Уже час длится воздушная тревога. То затихают, то вдруг снова открывают шквальный огонь по гудящим очень высоко в небе немецким самолетам наши зенитки. И небо словно поджигается тогда со всех сторон отблесками орудийных залпов. Дома трясутся. А потом протяжный свист, один за другим, и взрывы бомб; кажется, даже слышно, как рушатся кирпичные стены. Тревога длится час, кое-кому надоело стоять в подворотнях, и те нарушители, с которыми начата сейчас борьба, невзирая на свистки милиционеров и падающие осколки, пользуясь темнотой, пробираются побли-

же к дому. Против улицы Рубинштейна, у закрытых по тревоге дверей кондитерского магазина, очередь. Человек десять. Стоят, ждут: авось, тревога кончится—первыми попадут к кассе. Снова начинают бить зенитки. Прожектора ищут самолет, все ближе и ближе вибрирующий звук его моторов. Вот ножницы прожекторов скрестились прямо у нас над головой. Вспыхивают в перекрестке прожекторных лучей разрывы. Слышно, как звенят от треска зениток стекла даже в самых высоких этажах. Люди в очереди жмутся под стену дома; бомба упадет, — значит, тебе не повезло. А вот если свой же осколок заденет, это обидно,—лучше укрыться. И в эту самую минуту подходит из темноты к очереди человек лет двадцати пяти и спокойно спрашивает:

— Не знаете: пирожные в кондитерском есть?

И здесь, в беспечном и таком будничном, казалось бы, вопросе «пирожные есть», отразилось, несомненно, и большое хладнокровие, свойственное большинству населения, и одновременно с этим ненужное бодрячество, которое подчас очень вредило нам в эти суровые дни.

Другая тревога. Мы на чердаке шестиэтажного дома. К соседям упали зажигательные бомбы. Вот последняя еще брызжет синеватым пламенем, рассыпая искры, но кто-то ловко поймал ее за хвост и швырнул с крыши на мостовую. Огненный шлейф искр завивается вслед за бомбой, она шлепается на мостовую, вспыхивает еще ярче, но со всех сторон набрасываются на нее «охотники за зажигалка-

12—1

ми» — ремесленники, домашние хозяйки, инвалиды. Бомба вспыхнула раз — другой синеватым пламенем, точно зажженная внезапно палочка бенгальского огня на рождественской елке, и потом вдруг стало темно. Погасили.

Но одну не успели погасить, и мы видим через слуховое окно, как разгорается она на крыше дровяного склада, через квартал от нас вспыхивают штабеля досок, гигантский факел освещает все окрестные дома, целый район освещает багровый отсвет, лижет покрытые коркой ледяного наста крыши. И вдруг в этом невыгодном свете, разогнавшем темноту пасмурной ноябрьской ночи, начинают бить в нашем секторе зенитки. Мы привыкли узнавать их по звуку. Это такие же неотъемлемые спутники жизни нашего района, пейзажа наших улиц, как двадцать второй номер трамвая, пробегающий то и дело перед окнами, как знакомый усач — постовой милиционер. И когда подают голос в темные ночи наши зенитки, мы знаем: враг над нами. Вот и сейчас он где-то там плывет под облаками и видит освещенные его же бомбами кварталы. А мы стоим под стропилами. И вот свист. Бомба. Одна. Другая. Третья. Прорезывая морозный воздух, они летят сверху, падают вокруг — две в сад, одна врезывается в мостовую; жалобный звон вылетающего из рам стекла догоняет эхо взрыва, и в наступившей тишине один из нас, самый молодой — парнишка лет шестнадцати в артиллерийской шинели ученика спецшколы, — с мальчише-

12—1

ским пренебрежением к опасности презрительно говорит:

— Ну, мелочишку нашвырял! Килограммов по сто каждая. Не больше.

А крыша еще гудит от соседних взрывов, и какая-то труха, паутина сыплется за шиворот из-под стропил.

* * *

Да. Тревожные ленинградские ночи, то с небом, затянутым с вечера сплошной пеленой туч и падающим мелким снегом, то с рваными облаками, быстро несущимися над городом от свирепых балтийских ветров и открывающими звезды, поблескивающие где-то над серебряными аэростатами воздушного заграждения, то с ясной, полной луной, освещающей город так, как это бывает только на юге, да и то летом. В такие вот ночи даже самые рассеянные раньше люди, которые до войны вовсе не интересовались такими явлениями природы, как луна, звезды или первый падающий снег, теперь сделались очень внимательными, ибо с этими явлениями стала связана не только их судьба, но в первую очередь судьба их родного города.

И я не согрешу против правды, если скажу, что именно в такие тревожные ночи дорогой каждому из нас город ощущался нами гораздо ближе, реальнее, чем днем. Днем внимание несколько рассеивалось огромными просторами его улиц, площадей, мостов, переброшенных через Неву. Но-

чью же дома и улицы как бы сдвигались и Ленинград делался более уютным, как своя, обжитая комната, где каждый угол узнается наощупь при погашенных огнях. И было мучительно больно в такие вот тревожные ночи воздушных бомбардировок слышать, как тупые варвары с огромной высоты как попало швыряют вниз на город бомбы, разрушают то́ наше, что создавалось веками, и в эти вот минуты в сердце каждого ленинградца рождалась такая жажда мести, ненависти к врагу, что страшнее ее не знал никогда мир.

Но изо всех этих ночей больше всего мне запомнилась одна, предпраздничная ночь, наступившая в канун нашего великого праздника, — ночь с 6 на 7 ноября.

Мы знали: враг будет делать все, чтобы испортить нам праздник, мы догадывались, что именно в эти, дорогие сердцу каждого из нас минуты он со звериной жестокостью попытается нанести самые чувствительные раны тому самому городу, где впервые в мире вспыхнула искра Октября, городу, об который впервые враг обломал свои волчьи зубы, зарывшись в осеннюю землю у самых его окраин.

Днем, накануне праздника, город был очень спокоен. Размеры обычной предпраздничной суеты были сдержанны: условия войны не позволили наблюдать того обычного для Ленинграда предпраздничного волнения, которое раньше, до войны, прежде всего можно было наблюдать в магазинах. Те-

перь масштабы закупок были гораздо скромнее, но и сейчас каждый ленинградец стремился выкупить полагающийся ему к празднику шоколад, получить вино получше, выбрать консервы повкуснее. Маленький предпраздничный ужин готовила почти каждая семья. Это стало традицией, и нельзя было отказаться от нарушения ее. Но только стало смеркаться, — из рупоров послышался сигнал воздушной тревоги.

Фашистские самолеты летели к городу.

Тысячи ленинградцев бросились на чердаки, дежурные заняли свои места у телефонов, наблюдатели встали на вышки, матери повели своих детей в бомбоубежища, в щели, покрытые сверху первым снежком. Небо было ясное уже с вечера, полное звезд, ущербная луна отражалась и в окнах домов и на волнах Невы. Казалось, при такой видимости фашистские стервятники будут неистовствовать еще ожесточеннее, чем прежде, но, однако, давно подготовлявшийся налет провалился. Зенитки били особенно громко в эту ночь, прожектористы подбавляли к свету луны еще и свет своих лучей, а наши славные «ястребки» запели сразу же где-то под звездами, как только объявили тревогу.

И всякий, кто слышал в ту ночь этот звенящий, без колебаний, непохожий на вибрирующее завывание фашистских бомбовозов, ободряющий голос наших самолетов, понимал, что враг не сможет испортить нам праздник. Так и случилось. Правда, кое-кому из фашистов удалось все же сбросить

бомбы, но, как всегда, они были сброшены куда попало, наобум, — мы слышали их отдельные взрывы, но это было совсем не то, что предполагали натворить воздушные холуи генерала фон Леека в эту предпраздничную ночь.

И вот, только кончилась тревога, лишь только затихли зенитки, выгнав врага за городскую черту, а в небе остался звенящий, задорный гул советских ночных патрулей, лишь только возвратились ленинградцы из бомбоубежищ, с постов в свои квартиры, из радиорупоров совершенно неожиданно послышались аплодисменты и вдруг прозвучал удивительно спокойный, мужественный и такой близкий сердцу каждого из нас голос великого Сталина.

Я был в эту минуту в обычной ленинградской квартире.

В одно мгновение распахнулись двери нескольких ее комнат, выходящие в коридор.

— Сталин говорит, Сталин, слушайте! — радостно предупреждал сосед соседа.

Предупреждал, сияющий, веселый, и тотчас же скрывался у себя, силясь не пропустить ни одного слова вождя. Люди забывали, что всего несколько минут назад каждому из них угрожала смерть от случайно сброшенной фашистской бомбы. Какими второстепенными, преодолимыми казались сейчас все наши заботы, лишения, тяготы войны по сравнению с тем большим, значительным, неповторимым, о чем говорил Сталин! Я видел, как мать, положив ребенка, завернутого в оде-

ГОСУД... ИСТ...

яльце, на кровать, не захотела его развязывать, боясь лишним движением, шорохом своих пальцев заглушить слова, несущиеся из радио.

Остальные присели вокруг — кто на краешке стула, кто на кушетке, кто стоял, прислонившись к жарко натопленной печке, и взгляды всех были устремлены в маленький картонный кружочек, откуда слышался голос Сталина, голос далекой и героической Москвы.

И вдруг, когда Сталин проговорил несколько минут — никто даже не заметил, сколько, — снова завыла сирена, снова летели фашистские самолеты на город. Москва затихла, заглушенная сигналом воздушной тревоги.

— Вот мерзавцы, помешали! — с досадой сказал мой знакомый. — Не дали послушать...

Но тотчас выражение гнева на лице его сменилось радостью: сигнал тревоги оборвался сразу, очень быстро, его почти не повторяли, и снова мы услышали спокойный, уверенный сталинский голос.

Сталин говорил еще долго.

Все сидели на своих местах. Никто не думал уходить вниз, под своды бомбоубежища, многие, пожалуй, просто забыли, что объявлена тревога, а кто помнил, тот не думал в эту минуту об опасности: смысл сталинской речи внушал такую уверенность в наши силы, в неизбежную победу над врагом, слова Сталина о мести фашизму, об истребительной войне, которую получит отныне Гитлер, так отвеча-

ли нашим собственным чувствам ненависти к фашизму, что для каждого из нас совершенно не имело значения то, что в это же время где-то высоко, под луной, а быть может, над нашим домом кружился отбившийся от своей, рассеянной советскими ястребками фашистской банды воздушный разбойник.

Сигнал отбоя очень скоро ворвался на минуту в речь вождя и затих, мы восприняли это как должное. Быстро потушенная силами наших летчиков и артиллеристов, вторая за эту предпраздничную ночь воздушная тревога как нельзя лучше соответствовала словам вождя о растущих силах нашей Красной Армии.

И когда последние, заключительные фразы речи Сталина сменились пением «Интернационала», когда в этом могучем гимне, который пели в эти минуты в родной Москве наши братья, узнали и голос Сталина, услышали: поет наш Сталин, — мы поняли, что праздник уже наступил и никакая сила не помешает нам отметить радостную эту ночь, вдохнувшую столько новой энергии и бодрости в любого из нас.

Мы сели за столы, сдвинули стулья, зазвенели рюмки, и первый наш тост в звездную эту предпраздничную ленинградскую ночь был за того, под чьим руководством радостно нам всем было жить, радостно защищать родной город и всю родную нашу отчизну и еще радостнее побеждать самого заклятого и ненавистного врага.

* * *

Мы следили еще с лета, с первых недель войны, за приближением врага к нашему городу очень внимательно и настороженно. Каждый шаг врага отмечался в нашем сознании. Фашисты взяли Лугу, и тут многие вспоминали очень остро, что до Луги три часа езды пригородным поездом.

Это приближение фронта к Ленинграду очень больно ощущал каждый из нас, но никто не терялся, и город ничем не выдавал своего внутреннего напряжения.

— Но что за чорт, ну, убейте меня: ничего не понимаю! — говорил мне в эти очень опасные для города минуты один знакомый. — Когда немецкие танки были в ста километрах от Парижа, Франция перестала существовать. У нас же немцы в Пушкине, а я сейчас спрыгнул с задней площадки трамвая, а милиционер тут как тут. Штраф с меня потребовал. Три рубля пришлось заплатить. А посмотрите на улицы, зайдите в кино, в театр, пройдите в парк Госнардома — все попрежнему. Тихо. Спокойно.

* * *

Было бы, конечно, неправдой утверждать, что каждый переносил эти дни с необычайной легкостью и не испытывал никаких других чувств, кро-

ме чувства гордости за свое место в строю ленинградцев.

Переживать эти дни, из которых придет к тебе мое письмо, мой далекий, неизвестный друг, нам, конечно, очень трудно. И каждый, кто переживет это время, научится на всю свою последующую жизнь ценить и вкус лишнего ломтика хлеба и кусочка сахара, и возможность еще раз взглянуть поутру на солнце, и прелесть электрического света, вдруг вспыхнувшего после долгой темноты в своей комнате.

Мы расскажем когда-нибудь нашим детям, если они закапризничают вдруг и откажутся есть свою утреннюю кашу, как их отцы, переживавшие эти дни немецкой блокады Ленинграда, выискивали на полках пустого буфета завалявшиеся еще с «мирного времени» несколько зерен рису, чтобы бросить их в суп и сделать его этим самым чуть погуще, как друзья угощали друг друга лепешками из кофейной гущи или отмоченного горчичного порошка, как пили чай с «холосасом» — экстрактом против камней в печени, — потому что нехватало сахару.

Но не это главное будет в наших рассказах. Мы будем гордиться тем, что голодные, окруженные самыми злобными и бесчеловечными врагами, каких когда-либо знала история, мы ни на мгновение не подумали о том, чтобы сдаться на милость победителя, пустить его на наши улицы, склонить

свою голову перед голубоватым мундиром немецкого белобрысого офицера, продать родину.

Находясь в родном нашем городе, окруженном кольцом фашистской блокады, живя в домах, обстреливаемых из фашистских орудий, не уходя сутками с заводов, где ковалось оружие для победы над врагом, мы ни на минуту не чувствовали своей оторванности от всей огромной нашей родины, дающей отпор фашистским захватчикам и с волнением следящей за нашей борьбой с врагом, осаждающим Ленинград. В эти дни мы знали, что наши братья в далекой солнечной Грузии, на хлопковых полях Узбекистана, на берегах Тихого океана — все люди без различия их национальностей, населяющие Советский Союз и озаренные светом Сталинской Конституции, считают нашу борьбу своей борьбой.

В эти грозные дни на деревянных щитах, закрывающих окна первых этажей ленинградских домов, были расклеены стихи Джамбула, посвященные защитникам Ленинграда. Радио принесло волнующие строчки этих стихов в осажденный город из далекой Алма-Аты, и ленинградцы, прочитывая их у трамвайных остановок, слушая их по радио, с волнением думали о мудром столетнем старике-акыне, который мысленно был с нами.

Мы встречали на улицах города в черных матросских шинелях, в серых ватниках, с автоматами за плечами веселых, добродушных украинцев, смуглых грузин, калмыков; вдруг на Невском по-

среди спешащих на работу пешеходов звучала эстонская речь — люди оборачивались и сразу по особому цвету военных шинелей узнавали пробившихся с боем из-под Нарвы эстонских стрелков; все эти люди, защищая Ленинград, считали себя ленинградцами, они знали, что их народы прислали их сюда, поручили им это святое дело — защиты колыбели Октября, ибо Ленинград был одинаково дорог сердцу каждого советского человека.

Стоя в сумраке у самых трамвайных путей и дожидаясь своего трамвая посреди темной улицы, вы вдруг слышали звуки знакомой песни. Это радио выполняло очередные заказы защитников города. Лейтенант-украинец с далекого фронта, окруженного холодными водами Финского залива, просил исполнить «Сулико». Под аккомпанемент оркестра чонгуристов гортанные девичьи голоса пели протяжную песню о розе, оброненной девушкой-грузинкой; эту грузинскую мелодию вместе с моряком-балтийцем и его товарищами по форту слушал с волнением и весь суровый, затемненный Ленинград. Она входила как долгожданная гостья в сотни квартир, песню слушали миллионы защитников города, и язык далекой Грузии воспринимался каждым, как свой, родной язык. А потом запевали украинцы, они пели «Запрягайте, хлопці, коні», пели протяжные думы на слова великого Шевченко, и вы вспоминали, что юность его прошла на гранитных набережных Петербурга, что именно в этом городе впервые про-

будился и расцвел его изумительный талант поэта и живописца. Слушая радио в этой ночной перекличке голосов родных народов, населяющих Советский Союз, слушая их искусство, вы еще раз понимали великую силу национального единства нашей страны. Вы понимали, что ленинградец, стреляющий по врагу из блиндажа, вырытого на подступах к северной столице, в то же время защищает культуру и национальную свободу своих братьев — украинцев, грузин, узбеков и казахов.

* * *

А разве забудут будущие ленинградцы тех людей, кто в эту суровую зиму в корпусах огромных заводов ковал победу для фронта? Ведь многие заводы, раскинутые на окраинах нашего города, были фронтом и в буквальном смысле этого слова. Стены многих заводских цехов первыми из городских строений принимали на себя удары вражеских снарядов, фашистская шрапнель зачастую осыпала застекленные и выкрашенные синим стекла заводских корпусов. Тысячи рабочих пробирались поутру к проходным своих заводов, как связной на фронте спешит под обстрелом врага с донесением к своему командиру. На окраинных улицах рвались снаряды; заслышав их протяжный свист, люди падали на тротуары, затем подымались, бежали дальше, вперед, к заводу,

ближе к фронту. А линия фронта начиналась за воротами завода. Они стояли у станков, не выключая их подчас во время самых ожесточенных бомбардировок. В мартеновском цехе одного из гигантов-заводов выстроен самый настоящий дот. Ни на минуту не прекращая плавку, не покидая цеха, следя из окон дота за сверкающими глазками мартенов, рабочие выбегали из-под прикрытия дота на минуту — другую обслужить печь, а потом снова возвращались в укрытие, чтобы не быть пораженными осколками снарядов.

Сколько тяжелых танков, бронемашин, орудий, снарядов, новых автоматов, особенно не любимых немцами ручных гранат и мин выпустили ленинградские заводы в эти дни!

Вы могли найти в цеховой конторке рядом со столом сменного мастера и его койку, застланную серым, военного образца, одеялом. Люди неделями не бывали дома, они спали накоротке в цехах, питались в заводских столовых, а если и удавалось иной раз навестить семью, то непредвиденная тревога обязывала идти пешком не один километр.

Во время одной из таких затяжных, многочасовых тревог мне довелось наблюдать, как рабочие одного из заводов Выборгской стороны шли пешком под бомбежкой мимо темных, остановившихся трамваев, кто на Петроградскую, кто на Васильевский остров, а кто и на далекую Невскую заставу повидать часок — другой семью, погладить сор-

ванца-сына, выслушать его рассказ о новой, сброшенной им зажигательной бомбе, а затем, выпив наспех стакан горячего чаю, снова возвращаться на завод.

В эти суровые дни очень нелегкой и напряженной работы многие и многие жены по-иному начинали смотреть на своих мужей, как, впрочем, и многие мужья узнавали в своих женах не только простых домашних хозяек, но и видели в них, в их очередных дежурствах по дому, на крыше, в госпитале скромных защитниц великого города.

— Я и раньше знала, что у моего Юрки твердый характер, — рассказывала мне про своего мужа одна знакомая, — но только теперь я убедилась, какой это настоящий человек. Предлагали ему эвакуироваться с частью цехов — отказался. Не брошу завода, сказал. Нет дня, чтобы завод его не подвергался обстрелу, он может отпроситься, уйти переночевать домой, но он ни за что не хочет покидать завод. Забрал туда себе подушку, одеяло, изредка позвонит по телефону, скажет: жив, здоров, сегодня снова были у нас гости—это, значит, бомбили завод, — скажет: целую на прощанье — и снова сутками я не знаю, что с ним. Похудел, серьезнее стал. Вот забежал на праздники домой часа на два, принес плитку шоколада, обнял меня, помылся и снова на завод. А ведь там, у них на окраине, очень опасно. Хороший, смелый у меня Юрка!

* * *

Зима в этот год пришла ранняя. Злая, колючая зима.

Пурга мела по улицам уже в последних числах октября. Уже в ноябре зачастили первые морозы. Дров у каждого было немного. Некогда было заниматься дровами: война ведь началась летом. Многим угрожала опасность в самые трескучие морозы лишиться от случайной бомбы, если не жизни, то крова, вещей, обеденного стола.

Просыпался Ленинград в эту первую военную зиму очень рано. Еще звезды перемигивались в туманном, морозном небе, еще ясно светил, выглядывая из-за туч, молодой месяц, а уже на белых ленинградских улицах можно было увидеть тысячи жителей нашего города. То обгоняя друг друга, то давая один другому дорогу, они спешили на заводы, на дежурства, чтобы еще задолго до наступления полного рассвета подойти к станкам, занять свои очередные посты, сменить работавших ночью товарищей. Сотни тысяч ленинградцев встречали первые утренние радиопередачи уже на ногах, умывшись и освободившись от последних остатков сна. И если раньше, до войны, многих из нас поднимал с кроватей знакомый голос диктора, то теперь этого голоса ждали уже одетые, отдохнувшие за ночь люди, ждали с большой надеждой и уверенностью, что он обязательно расскажет что-то хорошее, приятное. Расскажет

такие новости, с которыми веселее будет шагать по темным еще улицам к своим заводам, забывая о морозе, не боясь холодного утреннего ветра.

И разве обманывало нас это предчувствие, особенно в последние утра декабря, накануне Нового года?

Сколько радости принесли каждому строгие и лаконичные сообщения Советского Информбюро, которые мы выслушивали по утрам и которыми начинались новые дни нашего осажденного города! Сколько людей перед тем, как покинуть квартиры, будили остающихся дома и еще сонных родственников, жен, матерей и просто соседей веселыми окриками:

— Вставайте, будет вам спать! Новости-то какие! Взят Калинин. Погнали к чертям собачьим немчуру проклятую!

И сразу же после такого окрика позднее зимнее утро входило в комнаты многих и многих ленинградских квартир намного раньше положенного ему по зимнему календарю срока. В такие минуты казалось, что промерзшие стены дома раздвигаются и в квартирной темноте вдруг в полную силу вспыхивают яркие солнечные лучи еще далеких, но таких уже ощутимых весенних рассветов. И сколько бодрости, веселья, веры в скорую нашу победу принесли в декабре — в этом месяце больших военных переломов — упоминания с таких простых, казалось бы, для слуха географических названиях, как Ростов и Елец, Волхов и

Тихвин! Города эти, о которых многие подчас раньше только знали понаслышке, вдруг стали милыми и близкими нашему сердцу, точно мы родились в них, точно на их улицах и площадях протекали наше детство и юность. И когда, пережив эту навязанную нам войну, выйдя из нее победителями, мы будем вспоминать суровый, декабрьский Ленинград тысяча девятьсот сорок первого года, мы с глубоким волнением и нежностью вспомним имена его младших братьев — тех освобожденных городов, по разрушенным улицам которых в эту пору, выбивая и гоня отступающих немцев, победно проходили славные наши советские полки...

Ростов, Калинин, Тихвин, — скажем мы несколько лет спустя, и эти простые названия вдруг озарят наши воспоминания таким ярким светом, что даже самый неразговорчивый из нас сможет целый вечер рассказывать своим друзьям и детям о пережитом нами в эти дни.

И еще обязательно вспомнится одно такое же с виду, казалось бы, простое декабрьское утро. Морозное утро, которым начинается день двадцать пятого декабря.

Чуть-чуть туманно. Скрипит снег под ногами у прохожих. Изредка темноту прорезают узенькие лучики света, вырывающегося из автомобильных фар. И вот навстречу вам из темноты выбегает совершенно незнакомый человек. Он дружески хватает вас за руку и говорит взволнованно:

— Товарищ! Послушайте. Вот новость: прибавили хлеба! Поздравляю!

Двенадцатилетний мальчик — Коля Ямшенецкий, мой сосед по квартире — в это утро ворвался с холода в прихожую в седьмом часу утра, радостный, сияющий, держа в руках коричневый кирпичик свежего, вкусно пахнущего хлеба. Позабыв закрыть за собой дверь, он бросился с ходу в коридор, и все услышали его звонкий крик:

— Эгей! Вставайте. Хлеба прибавили! Вот честное слово, не вру!

И, порадовав этой новостью соседей, переполошив всю квартиру и, может, впервые не получив за это нагоняя, Коля помчался в самую дальнюю свою комнату. Он разбудил мать, торопливо зажег лампу и, поднося к самому изголовью кровати кирпичик хлеба, закричал матери еще звончей:

— Посмотри, сколько хлеба получил, мама! И это только на один день! Да, да, только на сегодня. Ну, конечно, не обманываю: прибавили, я же тебе говорю. Ну, что я сумасшедший обманывать, что ли? Такими, брат, вещами не шутят. Да вставай, я тебе говорю, скорее и кричи «ура», слышишь, мама!

В это обычное декабрьское утро, которым начался двадцать пятый день декабря, люди, стоящие в очередях у прилавков булочных, были наредкость вежливы, обходительны, радостны. Знакомые встречали друг друга словами «доброе утро», придавая им особый, многозначительный

смысл. Продавщицы, улыбаясь, орудовали ножами; не беда, что многим из них приходилось отпускать хлеб при свете керосиновых коптилок, потому что электрический свет был временно выключен в некоторых районах города, плохо было с топливом для электростанций. И продавщицы и покупатели знали, что коптилки — это неудобство временное, что скоро снова вспыхнут у всех потолков электрические лампочки, да, пожалуй, и вовсе не было повода в это утро думать о свете. В булочных было очень весело, и на душе у каждого очень светло. Пожилая женщина в белом вязаном платке, обернувшись спиной к уходящей вперед очереди и нисколько не боясь потерять свое место, с жаром говорила стоящей за ней молодой девушке:

— Я все время указывала: погонят немца — прибавят хлеба. А то как же иначе?! И теперь, видите, вышло по-моему. А еще погодите: вот дадут ему еще жару покрепче, потеряет он последние портки, — не то будет. Все белый хлеб кушать снова станем, булочку увидим, да-да-да! Мое слово — верное слово. Старые люди на ветер слова не бросают.

В это обычное декабрьское утро весь Ленинград мгновенно узнал о прибавке хлеба. Новость эту передавали на улицах незнакомые люди, о ней очень много говорили на заводах, в домах, в учреждениях. В обеденные перерывы в столовых перед каждым из обедающих лежали уже значитель-

но большие, чем вчера, чем позавчера, куски свежего и лучшего хлеба. Люди смотрели на хлеб с любовью, потому что видели за этой прибавкой очень многое. Они снова вспоминали простые названия: «Ростов», «Калинин», «Елец», «Тихвин», «Волхов». Вспоминали простые, лаконичные и очень уверенные фразы декабрьских сводок Советского Информбюро. Они представляли себе ясно заснеженные тихвинские леса, славных бойцов армий Мерецкова, Федюнинского. Видели их, дорогих сердцу каждого, наших земляков, преследующих по лесным тропам обовшивевших и голодных фашистов. И каждый понимал: это они, славные бойцы наши, отвоевали для нас этот хлеб.

Это они, братья наши и друзья, товарищи и герои, не жалея собственной жизни, смело идя на немецкие доты, подрывая броню немецких танков, выкуривая гитлеровских мародеров из глубоких, засыпанных снегом блиндажей на жестокий мороз, выгоняя это грязное, вонючее зверье на смерть, в непроходимые леса, делали все это для того, чтобы каждая ленинградская семья могла получить к обеду больше хлеба, чем получала раньше.

Мы на всю нашу жизнь запомнили это утро, начавшее день двадцать пятого декабря. Оно было праздничным и весенним для каждого из нас, несмотря на холод и остающиеся еще трудности. В этих лишних ста граммах прибавленного хлеба было дыхание победы. И мы знали, что еще не одно такое утро обрадует нас, облегчит тяжелые

лишения, навязанные войной. Мы знали, что прибавка хлеба — хорошая, добрая весть, подбодрившая нас всех очень сильно накануне близкого Нового года.

* * *

Уже близок рассвет. Сильнее артиллерийский обстрел нашего района. Снаряды ложатся где-то на соседней улице, каждый раз при разрыве вздрагивает лампа на столе, а я все же хочу закончить тебе это письмо еще в эту ночь. Рядом, в двух шагах от стола, спит в маленькой своей кроватке мой сын — ровесник войны. Ему очень скоро исполнится пять месяцев. Он спит, разметавшись, раскинув ручонки, и даже не вздрагивает от близких разрывов. Они вошли в его жизнь незаметно и естественно, как в жизнь другого ребенка входит солнечный свет или зелень, покрывающая деревья. Обстрелянный будет воробей, когда вырастет! Сколько порасскажет он с гордостью своим сверстникам, товарищам, знакомым, особенно, если они будут уроженцами других городов. С какой ребячьей гордостью будет хвастаться он перед ними тем, что жил в Ленинграде в грозные эти дни, сколько зависти вызовет он у ребят! Я сделаю все для того, чтобы вырастить его, чтобы поставить на ноги, чтобы увидел он новую жизнь, которая создается сейчас в гуле орудийных разрывов, — но-

вую жизнь, без ночных бомбардировок и артиллерийских обстрелов.

И с какой благодарностью будут вспоминать потом ровесники войны и вместе с ними ты, кому пишу я письмо из темной декабрьской ночи 1941 года, тех, кто, переползая по мокрому снегу, по немецким минным полям, разрезая на ходу колючую проволоку, рвался к вражеским окопам, занеся над собой гранату, чтобы огнем ее разрыва вышибить врага из его очередной норы, чтобы отбросить его прочь от города, чтобы разорвать кольцо блокады и снять угрозу голода, нависшую было над Ленинградом.

Я знаю, когда доведется вам гулять по Ленинграду, на углах его перекрестков, вы увидите надежные дзоты с бойницами, обращенными к возможным подступам врага. Вы встретите длинные и путанные ходы сообщений, глазки закрытых сверху пулеметных гнезд, косые входы в землянки, где жили бойцы. Может быть, еще не проржавеет до конца жесть на трубах, выведенных наружу от печурок, у которых грелись они в эту зиму в перерывах между очередными атаками. В это время, я верю, хорошие, надежные накаты на дзотах порастут густой, сочной травой, быть может, кое-где садовники районных коммунальных отделов посадят на них цветы; метеолы, левкои, бегонии будут цвести на той земле, которую насыпали тысячи ленинградцев, чтобы перехватывала она артиллерийские снаряды, задерживала осколки авиацион-

ных бомб, чтобы спасала она жизнь их же братьев, одетых в защитные шинели.

Я верю: в твоем будущем все эти сооружения будут уже ненужны, может, в них будут продавать сельтерскую воду, может, спрячется под накат дзота или в глубь щели случайный прохожий от проливного июльского дождя, спрячется, переждет дождь и, когда радуга встанет над зеленой площадью Жертв Революции, зашагает дальше по блестящему асфальту просторных ленинградских тротуаров. Но я верю, что будущие жители нашего города — и ты в их числе — не раз остановятся перед таким вот курганом — вчерашним дзотом — в полях за Выборгской стороной, остановятся и скинут шапку так же, как ты снимаешь шапку перед домом, в котором жил и работал великий Ленин.

Вспомните же вы тех безвестных тружеников, которые с первых же дней войны взяли лопаты, кирки и выехали рыть окопы, отвесные противотанковые рвы, строить дзоты, — вспомните же скромных и простых ленинградских домохозяек, артистов, бухгалтеров, ткачей и маляров, кто, позабыв на время о своей основной профессии, рыл землю, таскал тяжелые бревна, грузил на носилки бут, подкатывал вагонетки с песком и лесом, резал острой лопатой ровные кирпичики дерна — делал все для того, чтобы армия, обороняющая город, могла уверенно стоять у пушек, у пулеметов,

могла смело подшибать из своих укрытий ползущие к городу вражеские танки.

Вспомните же матерей-ленинградок, которые оставив своих ребят либо в яслях, либо под присмотром соседей, уезжали поутру на работы за город, носили целый день носилки, рыли землю. Вам трудно будет представить, как тосковали подчас по дому их сердца!

Особенно, когда до района трудовых работ доносились вдруг сигналы воздушной тревоги и вскоре в дымках разрывов зениток прорывались к городу фашистские самолеты. Каким волнением наполнялись в эти минуты материнские сердца! «Ведь у меня же мальчик бегает на дворе, — думали многие из них, — догадается ли он спрятаться, укрыться?.. А вдруг бомба попадет в наш дом, и, возвратившись к вечеру, я застану только развалины да след колес скорой помощи на свежей кирпичной пыли?»

Но никто не бросал работу, никто не отпрашивался домой посмотреть, проверить, что там дома делается; даже в часы самых тяжелых бомбардировок люди работали честно, под осенними дождями и в ранние метели ноября, окружая родной город кольцом новых и новых линий неприступных укреплений, работали, не имея подчас возможности выкупить продукты, сходить в баню, — работали много и хорошо, и в этом тоже сказывался дух ленинградцев.

И как радостно было наблюдать окончание рабо-

ты на отдельных узлах; люди собирали лопаты, носилки, последний раз окидывали хозяйским взглядом только что законченную точку, а вокруг нее уже появлялись в защитных шинелях их земляки-ленинградцы. Они быстро устанавливали противотанковые пушки, прилаживали пулеметы, принимали от прорабов новое жилье, связисты тянули по молодым сосенкам телефонные провода; в походке военных, в уверенных движениях командиров чувствовалась большая вера в себя, желание костьми лечь здесь, но родного Ленинграда не отдать. И помнится: однажды, когда такая партия окопников покидала законченную точку, старый седоусый ткач весело крикнул майору-артиллеристу:

— Так глядите, не подкачайте, товарищи! Будьте здесь хорошими хозяевами. Амбары построили вам приличные.

— Не подкачаем, отец! — отозвался майор. — Будь спокоен. Спасибо большое за хорошую работу!

Я твердо верю: наступит тот день, когда на какой-либо из площадей победно окончившего войну Ленинграда будет поставлен памятник неизвестному ремесленнику — белоголовому мальчугану, сбрасывающему с крыши ленинградского дома зажигательную бомбу.

Они спасали Ленинград для вас — будущих его обитателей, — бесстрашные юноши, это они сохранили для вас — наши потомки — тысячи прекрасных зданий, которые враг хотел предать огню.

Я знаю, что в парках и на площадях восстановленного завтрашнего Ленинграда воздвигнут памятники легионам безвестных доноров, отдававшим свою кровь раненым бойцам в госпиталях Ленинграда; я верю, что в зелени ленинградских садов поставят памятники и в честь тех самых неизвестных строителей, которых сейчас называют простым словом «окопники» и которые обнесли Ленинград стеной непроходимых укреплений.

Мой далекий, неизвестный друг! Поверь мне, что многое, кажущееся сейчас тяжелым и трудным — темнота на улицах, ночные бомбардировки, возможная смерть от глупого, случайного снаряда, недоедания, — все это забудется в первый же весенний день мира, когда настанет час расплаты, так страстно ожидаемый всеми угнетенными фашизмом. Но мы всегда будем помнить отважных наших товарищей, защитивших в эти суровые дни нашу свободу, погибших за нас и за тебя, за то, чтобы ты, русский человек, мог спокойно, ни перед кем не сгибая спину, ходить по набережным Невы, гордиться своей родиной, ее языком, культурой, национальной честью. Мы не забудем никогда людей, которые сумели в годины тяжелых испытаний отстоять родной город и не дать ни на мгновение опоганить его фашистскому сапогу.

Мы запомним, как в осенний день 1941 года восемьсот моряков-балтийцев сошли с кораблей на пустынный, покрытый валунами берег Финского залива, как сбросили они бушлаты и, оставшись в

одних только тельняшках, взяв по четыре гранаты и заложив по два пальца в рот, с громким свистом пошли на фашистов.

Мы веками будем склонять головы перед памятью смельчаков, погибших в этой лихой, дерзкой атаке, которая уничтожила самые отборные батальоны фашистских мерзавцев; мы представим себе этот осенний, сумеречный день, берег залива, грохот рвущихся гранат, цепи стройных моряков, идущие во весь рост навстречу врагу защищать Ленинград, и огромная гордость за время, в которое мы жили, за партию, воспитавшую таких людей, будет лучшей наградой за все наши лишения, которые довелось нам перенести в часы защиты своего родного города.

Декабрь 1941 года.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА